

Аверлина

На два пальца

Я захотела ее раньше, чем поняла, что не смогу получить. Ее захотела то ли я, то ли моя мать, я уже не помню точно. С нами двумя сложно сказать наверняка, даже отец нас путает. Мама всегда мечтала о дочке, она ненавидела мальчишек, и мое рождение перевернуло все в их с отцом жизни: она бросила работу в налоговой, переехала в новую трешку и начала заниматься пилатесом, а ему пришлось бросить свою старую семью и стать моим отцом. Это нормально, ведь мы были лучше.

Мама была моложе той тетки и худее, у нее были гладкие блестящие волосы и такие же гладкие ноги, а та совсем себя запустила после рождения двойняшек и горбатилась нянечкой в детском саду. Она любила всех подряд детей, а моя мама любила меня.

Ребенком я никогда не была, я родилась сразу маминой подружкой. Я не плакала, ни о чем не просила, ночью я сладко спала, и скоро отец стал оставаться все чаще. Я была очаровательной. И в месяц, и в год, и в пять. Так сам отец сказал, это не я придумала.

Я была дочкой с открытки, а его первые двойняшки орала, покрывались диатезными пятнами и воняли каким-то скисшим молоком. Кстати, у меня тоже была двойняшка, я ее сожрала в маминой утробе за то, что она была не слишком развитой. Мама сразу поняла, что можно мной гордиться.

Правда с отцом у них не заладилось. К моему десятому классу он так и не смог накопить на факультет международных отношений, его красивые кудри сменились проплешинами, а пузо стало стремительно расти. Мама вышвырнула его и снова начала работать, а это ей никогда не нравилось. Вся надежда была на меня.

Вот только поступать мне теперь надо было только на бюджет. И в Москву. Я должна была увезти нас с мамой далеко-далеко из места, которое высосало ее молодость и превратило в уродину, если верить ее словам. Она бы взялась за меня основательно, если

бы не притащила домой нового мужика. Он был моложе нее и работал в строительном бизнесе, через пару месяцев в нашем холодильнике снова поселились форель и гранаты. Больше мама ничего не ела, а я повторяла за ней.

Понимаете, сложно разжиреть, когда рядом она. Мама отрицала халаты и тем более пижамы, из ванной она всегда выходила голой, и отец провожал ее долгим внимательным взглядом. На меня он стал смотреть чаще, когда я вытянулась и стала еще больше похожа на нее. Мое лицо оставалось чуть более округлым, но и бедра тоже, что однозначно можно отнести к плюсам. Зато мои волосы были такими же гладкими и длинными. Чтобы нас было легче различать со спины, я отрезала каре в начале десятого класса.

Я часто прогуливала, и наконец это стало проблемой. Раньше я прогуливала, потому что была либо на республиканской олимпиаде по истории, либо на танцевальных сборах, но к началу десятого класса выдохлась и перестала понимать, к чему такие старания. В вопросе поступления все еще надеялась на отца – он звонил по субботам втайне от мамы и рассказывал, как кладет все свои сбережения на накопительный счет, который официально станет моим к концу школы. Он очень хотел, чтобы я получила достойное образование, но еще больше он хотел, чтобы я хотя бы иногда звонила ему сама или приезжала в гости. Мама запрещала, и я уклончиво обещала, что приеду в следующий раз. Когда обещания ему надоели, пришлось подключить жалобные просьбы дать деньги на карманные, а то, мол, даже на проезд нет. Когда он согласился, я стала ездить к нему. Раз в месяц, не чаще, все равно говорить нам было не о чем, он только просил меня собрать волосы и посидеть так немножко рядом с ним. Иногда он просто смотрел, иногда закрывал глаза и засыпал, тогда я молча одевалась и уходила, прихватив чего-нибудь с «вредной полки».

А, да. Отец еще сильнее располнел, и мне начало казаться, что мама его выгнала именно за это – его щеки тряслись, когда он смеялся, одышка не позволяла подняться на четвертый этаж, а коленки стали мучительно ныть по ночам. Я старалась как можно

подробнее запомнить, во что смогу превратиться, если на шкале похожести от него к маме двинусь в его сторону. Мама и меня выгонит тогда.

Но «вредная полка» манила к себе, и вскоре мы с отцом нашли хобби на двоих. Мы стали обжираться. Крабовые чипсы, чесночные гренки, мороженое крем-брюле, вафельные торттики. Нам было все равно. Он включал телек, мы усаживались на диван и молча набивали животы. Когда все самое вредное заканчивалось, отец нарезал батон толстыми кусками и мазал майонезом, смешанным с кетчупом. Сверху мы кидали вяленые томаты, жареные яйца и лук, нарезанный колечками. Нам же ни с кем не надо было целоваться.

Сначала я не понимала, как быть после. Мне было хорошо в процессе, но уже через полчаса желудок скручивало, а через месяц мама впервые спросила, давно ли я так сильно отекаю перед месячными. Она погрела мне грелку и укрыла пледом, даже принесла мороженое. Но съесть я его не могла, мне было слишком страшно проснуться и увидеть в зеркале отцовские обвисшие щеки.

В следующий раз у него в гостях я отказалась от еды, потому что уже объелась дома. Отец недоверчиво наморщил блестящий лоб.

Он прекрасно знал, что «объедаться» в мамином доме запрещено, и пошутил, что всегда можно срыгнуть лишнее, как я делала в детстве. Когда он пустился в долгие рассказы о том, что я даже срыгивала очаровательно, я впервые посмотрела на него с восхищением.

Я почти что полюбила его тогда, но об этом ему знать необязательно. Тем более, может, я это придумала сама, просто пока что не осознала, а он всего лишь озвучил вслух и материализовал то, что и так должно было произойти. Вряд ли он даже понял, что именно сказал.

В тот же вечер он запек картошку в сливках, мы съели противень на двоих, а потом я выхлебала две кружки теплого чая и вывернула себя наизнанку. Это было потрясающе. Никогда еще я не чувствовала такой легкости, такой пустоты.

Домой я не бежала – неслась. Мне так хотелось, чтоб мама тоже заметила, что я абсолютно полая, но они с мужиком закрылись в комнате, так что мне пришлось любоваться собой в зеркале. А смотреть было на что. Там отражалась моя лучшая версия, а значит – лучшая версия моей мамы. И она останется со мной, если я найду способ избавляться от съеденного.

Опытным путем я выяснила, как правильно это делается. Если обожраться на сухую, ничего не выйдет, надо пить как можно больше. Теплая вода лучше холодной. Хлеб слипается в глиняные куски, и их никак не вернуть наружу. Мороженое и йогурты на выходе по вкусу такие же приятные, как и при входе. Когда пальцы перестают работать, можно обернуть их в целлофановый пакет.

К весне у меня было больше прогулов, чем у Лени Лычкова, который существование школы игнорировал в принципе, зато не пропускал ни одной тренировки балльных танцев и гордо встал со мной в пару, когда я переросла своего бывшего партнера. Он же первым сказал, что я стала легче перышка, за это я позволила ему дышать на меня чесноком во время прогона медленного вальса и проводить домой после. Леня был тощим и длинным, что в моих глазах добавляло ему шарма. Когда его тонкие пальцы с обкусанными ногтями передали мне сигарету, я закурила без раздумий. Когда он шутил, что у длинных и члены длиннее, я улыбалась. Вроде бы он не врал, но и сравнить мне было не с чем. Вообще в членах он разбирался слишком хорошо для ребенка однополрой семьи – его воспитывали мама с бабушкой и прабабушкой.

Зато моей маме он тоже понравился – так закончился его первый и последний визит ко мне домой. Я предупреждала ее за неделю, что он придет в четверг вечером помогать мне нашивать пробники по матану, но, конечно же, она выперлась из душа в одной тонкой майке на бретельках-ниточках и в лосинах. Леня заправил кудри за уши и с удовольствием сообщил, что мы очень похожи. Мама улыбнулась. Я блевала трижды в тот вечер.

Леня так и не понял, в чем дело, мы продолжили танцевать вместе, потому что предательство в бальных танцах не разваливает пары, а скрепляет намертво. А мой бывший партнер Женя еще долго извинялся за то, что не вырос, и предлагал свою помощь с матаном – он-то хотя бы реально разбирался. Коротконогий и ширококостный, он совсем мне не подходил, поэтому я начала таскать домой его. Все равно не жалко. И матан заодно подтянула, в первом полугодии у меня вышли снова все пятерки, и класснуха с улыбкой сообщила, что я могу «пойти на медаль», как Полина с Женей. И вот тогда я ее захотела.

Мама только пожала плечами, она вообще-то по умолчанию ожидала от меня медаль, ее новость не удивила. А вот отец заказал пиццу на остатки зарплаты. Получал он немало, тратил совсем чуть-чуть, вся проблема заключалась в любвеобильности. Ему приходилось содержать свою первую семью и нас с мамой. На себя не оставалось, не знаю, откуда бы он брал дофамин, если бы не был так зависим от быстрых углеводов.

Мне было стыдно смывать в унитаз его деньги, но и пицца в желудке была явно лишней. «Идти на медаль» я согласилась, что Полину совсем не обрадовало, хоть она и пожелала мне удачи, растягивая пухлые обкусанные губы в улыбке. Вся она состояла из кругов, как и все самые подозрительные люди, по ним никогда не видно, что они затаили зло. Круглые глаза, вечно то ли напуганные, то ли просто влажные. Круглые слишком большие груди, даже больше чем у мамы, а такого я даже в журналах не видела. У меня их не было, так и не выросли, а когда начали хоть немножко вылупаться, я уже всю уничтожала все жиры, которые съедала. Может, поэтому так и не смогли проклюнуться. Все ушли к Полине. Даже ее имя казалось таким же округлым, как ее бедра, покрытые растяжками и пушистыми волосками. Я их рассматривала в раздевалке, когда она переодевалась после физры. Вряд ли она заметила, а если и заметила, то ничего не сказала, потому что я бесстрашно сидела перед ней в одних трусах, и промежность у меня была такой же гладкой, как голени. Мама разрешила мне в первый раз побрить ноги в одиннадцать, и с тех пор я не пропускала ни дня.

Она бы ничего не посмела мне сказать, потому что я была лучше, и ей надо было об этом узнать. Вот тогда я захотела ее так сильно, что отказалась от участия в чемпионате республики по бальным, Леня еще долго ныл, что я должна была сказать раньше, и тогда бы нам не пришлось таскаться на индивидуальные тренировки, и эти деньги он бы скопил и спустил на сигареты. Вместо этого я пошла писать олимпиаду по литературе – всего лишь школьный этап, но моя нога под партой тряслась так сильно, что буквы в бланке все вышли кривыми закорючками. Больше всего волновалась за сочинение – у меня бы точно не получилось накатать полотно анализа каких-нибудь книжек, которые я не читала. Но повезло. Попалась Цветаева, а стихи я в целом любила гораздо больше. Они были понятнее, проще и чище прозы. Стихи не требовали головы, они требовали сердце, а мое заходило в истерику.

Когда класснуха передала, что мы с Полиной обе пойдем на городской этап, я заулыбалась так широко, что губы потрескались в двух местах. Такое вообще часто случалось, от рвоты уголки рта становились тонкими и сухими, а я вечно забывала мазать рот кремом на ночь. Зато не забывала по десять раз на дню полоскать рот раствором с перекисью или с содой, чтобы зубы не желтели.

Когда у нас закончилась упаковка соды, которая не заканчивалась ни разу за все время нашей жизни в этой квартире, а это, на минуточку, семнадцать лет с моего рождения, даже мама заметила неладное. Ей я жаловалась на горло, так что пришлось соврать, что сходила к лору, и он, о чудо, снова назначил полоскание.

Все-таки мне нужно было подготовиться к олимпиаде. Не ела я весь день до и еще один после, но уже по другой причине. Короче, мне надо было ее заполучить. По русскому и литературе Полина всегда была лучшей, русичка ей разве что в рот не заглядывала, когда она рассуждала о чувствах Онегина к Ленскому или глубоком психологизме Куприна. Она все болтала и болтала, облизывая губы, я никак не могла ее слушать, потому что ее голос был слишком тихим, вздохи – слишком громкими, а эти огромные груди вздымались, как

корабельные паруса. Это уже Леня заметил, он даже нарисовал в моей тетрадке на полях маленькое Полинино тельце с огромными трепыхающимися парусами вместо грудей.

Леня был противоположностью всего, что я знала о мужчинах от мамы. Большая грудь казалась ему нелепой, чурбанки волос на ногах, которые появлялись, как бы старательно ты не брилась, забавляли его, как и «кровь из пизды», которая, по твердому убеждению человека, выросшего среди трех женщин, шла прямо из уретры. Длинные волосы его бесили, но это потому что в танце я постоянно хлестала его хвостом по лицу. Меня не покидало ощущение, что Леня ненавидит все, что связано с женщинами, но со мной он общался нормально, поэтому я не слишком волновалась – к тому же, я была с ним солидарна, когда дело касалось Полины.

Других единомышленников у меня не было, даже мама считала ее хорошенькой. Она так и сказала, когда увидела на ее круглой голове на линейке классе в пятом точно такие же отпаренные банты, как и у меня. Тогда я долго к ней присматривалась, мы даже сидели за одной партой какое-то время. Она не делала ничего криминального. У нее было много подруг, даже слишком много для нормального человека, поэтому со мной она вроде как тоже пыталась подружиться. Но я не могла ничего с собой поделаться – у меня получалось только огрызаться на все, что она говорила. Как назло, она всегда говорила так тихо, что я толком не слышала, на что мне надо огрызаться, поэтому стала цепляться к ее внешности. Она весила больше меня, у нее раньше всех в классе надулась грудь и появились волосы в подмышках – об этом я и рассказала Лене. Так началась наша с ним многолетняя дружба.

Когда Полина пришла в секцию бальных танцев, мне захотелось откусить ей бошку – и это во времена, когда я не запрещала себе есть вволю. Можно только представить, во что выросло это невинное желание.

Я была высокой, а она нет. Мой голос был резким и громким, а ее тонким и писклявым. Если бы мне повезло родиться гладиатором, я бы умоляла поставить ее против меня на арене. Наверняка ее было бы приятно ударить. Наверняка ее кожа мягкая, ее живот

мягкий, ее щеки мягкие. Наверняка она бы завизжала от ужаса, и осмотрела бы только на меня. Она бы не смогла отвести глаза.

В детстве мама покупала мне книжки, чтобы я ее не отвлекала, и я очень хорошо помню сытое урчание в животе, когда читала о Древнем Риме и особенно о том, как мужчины забивали друг друга насмерть, и тысячи глаз любовались ими. Мне кажется, мужчинам это подходит. Жестокость, грязь, смерть. Я бы не слишком расстроилась, если бы Леня или отец умерли в такой схватке. Во всяком случае, было бы приятно вспоминать о них вместо того, чтобы реально общаться с ними. А еще лучше было бы, если бы так помер Женя.

Леня говорил, что Женя нравится Полине. Слабо верится. Как ей могло нравиться что-то, настолько похожее на девчонку? У него даже грудь выпирала. В венском вальсе его локти висели, он мог запыхаться всего за один прогон. Это не просто слабо, это ничтожно. Я гораздо лучше, и она не могла этого не видеть. У нее же есть глаза.

В день олимпиады я приперлась голодная и уже уставшая. Всем олимпиадникам, к которым я с тайным злорадством примкнула, было велено прийти в школу к началу уроков и дожидаться сопровождающую учительницу. Нашей стала географичка. На ее очках виднелись следы от пальцев, а юбка так обтянула зад, что грозилась разойтись по швам. Меня так и подмывало сказать, что она поправилась. Просто чтобы показать Полине, что я обращаю внимание на такое.

Полина тоже поправилась, и я это видела. Пожалуй, я бы даже могла ей помочь, могла бы показать, что можно сделать с этим, как можно вывернуться и выиграть в игру с едой.

Но вместо этого я поджала губы и втянула щеки, чтобы скулы стали четче. Географичка пересчитала нас по головам – на городской этап кроме нас с Полиной, прошла девятиклассница и хлипенький восьмиклассник в свитере, который Леня бы сравнил с крайней плотью. Говорю же, он гуру в таких делах.

Мы закутались в шарфы, нацепили куртки и вышли в плотную утреннюю мглу. Дорогу заметало быстрее, чем торопящиеся к первому звонку школьники успевали протаптывать новые обходные пути. Мы молча засеменяли друг за другом на остановку, чтобы набиться в замызганный пазик и медленно покатиться в другую школу, где будет проходить олимпиада. Я шла замыкающей и плотоядно тарасилась в затылок Полины, надеясь спровоцировать у нее головную боль.

Та другая школа была точной копией нашей. Мы забились в кабинеты, прослушали вялый инструктаж и уселись по одному за партой. Я села прямо за Полиной и сразу же поняла, что мне конец, когда раздали задания.

Скука, тупая крученая боль в животе и осознание собственной тупости – вот все, что ждало меня этим утром. Я толком не понимала даже вопросы, какие уж тут ответы. Полина зачем-то накрутила волосы, будто бы мы собрались на утренник, от нее пахло ванилью. Тяжелый приторный запах. Если бы мы сидели за одной партой, никакая столовка мне бы не понадобилась, она пахла калорийнее всего, что я съела за прошлую неделю.

Полина все ерзала на месте, и это раздражало так же сильно, как мерцающая длинная лампа над нашим рядом. Хотелось сдать. Делать было нечего.

Даже гладиаторы сдавались, тут нет ничего постыдного. Если их сильно ранили, и они понимали, что дальше уже никак, они могли вытянуть вверх два пальца – средний и указательный, признавая свое поражение и позволяя царю решить, что с ними будет дальше – жизнь или смерть. Два пальца – это признать поражение, и когда я совала их себе в глотку, я прекрасно это знала.

Гладиатора могли помиловать, даже если он признал поражение, но для этого ему нужно было произвести очень хорошее впечатление. Ему надо было заслужить жизнь, а на это были способны только лучшие, и мне всегда хотелось знать, как они себя потом чувствовали. Разве не лучше было умереть? Какой смысл оставаться в живых, если ты проиграл?

Полина попросила дополнительный листок бумаги, и когда она привстала, чтобы забрать его, я увидела на ее серой юбке следы крови. Протекла.

Знает ли она об этом? Стыдно ли ей? Чувствует ли она? Я всегда чувствовала. Моя кровь была липкой, вязкой, густой. Я всегда знала, когда начиналось. У меня постоянно кружилась голова. Однажды в первый день месячных пришлось сдавать кровь, и я свалилась в обморок. Мама говорила, что у меня всегда была «реакция» на кровь и что я родилась хищницей, это была ее любимая шутка после той, что я сожрала свою брата или сестру в утробе. Может, они протянули два пальца, и мне пришлось?

Мне показалось, что я чую этот запах. Все знают, что прокладки пахнут специфически, особенно когда переполнились. И все чуют этот запах от самих себя. Если говорят, что нет, они просто врут. Любая девчонка чует, мы рождаемся хищницами, нравится нам это или нет.

К горлу подступила тошнота, я смотрела на Полину, почти не отрываясь. Несколько раз оглянулась проверить, не смотрит ли кто-нибудь еще? Не чует ли кто-нибудь еще? Но нет, вроде бы всем было все равно, все уткнулись в свои листы. Монотонные звуки корябающих бумагу ручек сливались в мягкий гул.

Как только Полина исписала последний лист и встала, чтобы сдать работу, я вскочила вслед за ней. Мой бланк не был заполнен даже на четверть, но это перестало иметь всякое значение. Я поймала ее на выходе из кабинета и схватила за мягкое плечо.

– Ты протекла, – шепнула я. Она вздрогнула, и кто-то из учителей-надзорщиков шикнул на нас.

В коридоре Полина закрутилась на месте, пытаясь увидеть следы катастрофы, будто бы в этом был смысл. Она уже пропахла кровью. Может, если бы я нормально поела, я бы не чуяла этой дряни?

– Пошли, – я потащила ее за собой в туалет и там всучила прокладку. Я всегда их с собой таскала, потому что месячные потеряли регулярность и могли начаться когда угодно. Иногда их вообще не было, что только плюс.

– Боже, спасибо, – пролепетала она и закрылась в угловой кабинке возле окна, я даже не успела ничего сказать о том, что согласна на такое обращение.

Я не шевелилась. Шуршание, журчание, сдавленный недовольный вздох. Она несколько минут там торчала, пока наконец не открыла дверь. Я успела влезть, пока она не вышла, и снова закрылась на шпингалет. Мы оказались в крошечном сдавленном пространстве, где все пропахло ее кровью. В голове что-то поплыло, и я поспешила достать пачку сигарет. Не моя, Ленина, ему же надо было как-то ныкать от мамки, бабушки и прабабушки. Я брала небольшую плату – процентов пятнадцать содержимого.

– Окно открой.

Полина без слов послушалась, и в кабинку пополз ледяной морозный воздух. Гораздо лучше. Я сняла с себя кофту и протянула ей.

– Да ладно, – Полина отчего-то смутилась. – Может, застирается.

– И с мокрой жопой поедешь?

Она опустила глаза. Ее несуразно большой рот скривился, губы чуть задрожали, и на секунду я подумала, что она сейчас расплачется. Мне бы хотелось узнать, чем пахнут ее слезы. Мои не пахли, но я и не плакала.

Вдруг Полина рассмеялась.

– Я такую чушь написала, – как обычно с придыханием сказала она, но вот так вот вблизи это уже не раздражало.

– А я ничего.

– Чего?

– Ничего.

– Ну, в смысле... в каком задании ты...

– Нигде, – я перебила и затянулась со знанием дела, но на самом деле горло драло, и хотелось прокашляться. – Я вообще ничего не писала.

Полина посмотрела на меня в упор, и этот резкий, почти что грубый взгляд был единственным острым, что я в ней видела.

– А зачем пошла? – спросила она и протянула вперед ладонь, чтобы взять сигарету. Вот так просто, совершенно без спроса. Ее рука была расслабленной – большой палец чуть прижат к ладони, как и безымянный с мизинцем, только средний и указательный пальцы были чуть вытянуты вперед. Они сильно отличались от моих.

Мои средний с указательным вечно ныли, разодранные зубами, ее – беленькие и пухлые. Мои были длинными и легко проскальзывали в горло, ее – вряд ли смогли бы дотянуться до моего неба. Мои заканчивались рваными заусенцами и обрезанными под мясо ногтями. Для удобства. А у нее были длинными острые коготки, выкрашенные в нежный персиковый цвет.

Я передала ей сигарету, и она затянулась гораздо легче меня. Мы стояли совсем рядом. Всякий раз когда я делала вдох или сглатывала слюну, ее ванильные духи, смешанные с потом и запахом свежей прокладки, словно липли к задней стенке горла. Живот громко заурчал.

– Есть хочешь? – ответ ей не был нужен, сигарета вернулась обратно ко мне, а Полина, быстро порывшись в переднем кармане сумки, достала самую отвратительную шоколадку – белую.

Я их ненавидела с тех пор, как мама рассказала, что в младенчестве я совсем не брала грудь, а когда брала – дьявольски кусала, и ее соски вечно кровоточили и ныли от синяков. Она шутила, что было бы славно нацедить молока и отдать куда-нибудь, чтобы из него сделали плитки шоколада, и я мусолила бы их вместо того, чтобы высасывать из нее последние соки. Мама вообще довольно искренне признавалась, что полюбила меня, только когда сдала в ясли. Тогда у нее появилось время на себя, а я наконец перестала высасывать

ее красоту. Отец смеялся, что высосать я успела порядочно, и мама с ним еще долго не разговаривала после таких шуток.

– Бери, я все равно не буду доедать, – Полина приняла мой ступор за скромность и буквально сунула в мою руку шоколадку. Я на автомате развернула. И правда, обкусанная ровно наполовину и чуть подтаявшая, пластинка все равно сохранила отпечатки Полининых ровных зубов. Идеальные полукруглые выемки. Вот тогда я ее захотела.

Вроде бы Полина посмеялась, когда я проглотила, практически не жуя. Вроде бы прям рядом был унитаз, и в любой другой ситуации я бы опустила перед ним на коленки в ту же секунду. Но вроде бы я этого не сделала. Вроде бы Полина потянулась к моему лицу, чтобы быстро вытереть белесые следы рядом с нижней губой, а я вроде бы оттолкнула ее и вылетела из кабинки. Глухой зудящий ужас волной скрутился в желудке, и я просто побоялась, что она посчитает меня отбитой, что она как-то сможет увидеть, сможет почувствовать, как давно я не ела, и это позволит ей выиграть. Все во мне тянуло обратно – в туалет. Там остался унитаз, там осталась моя сигарета, там осталась Полина.

Но я стиснула зубы, вышла из школы на мороз, поехала домой и ничего не ела до прихода мамы. А когда она пришла, я сказала, что ужинала раньше, и попросила перевести меня в другую школу. Она спросила: «Почему?», а я ответила, что так хочу. Этого было достаточно. Этого всегда было достаточно.